

БОЛЬШАЯ
ЛИТЕРАТУРА

АЛЕКСЕЙ
МАКУШИНСКИЙ

АЛЕКСЕЙ МАКУШИНСКИЙ

ПАРОХОД
В АРГЕНТИНУ



Москва
2018

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44
М17

Художественное оформление серии
Алексея Дурасова

Макушинский, Алексей.

М17 Пароход в Аргентину / Алексей Макушинский. —
Москва : Издательство «Э», 2018. — 320 с.

ISBN 978-5-699-96172-6

Изысканная проза Алексея Макушинского ставит его в один ряд с такими мастерами, как Марсель Пруст и Владимир Набоков. «Пароход в Аргентину» — знаковое для автора произведение, заслужившее широкое признание у читателей и критики. Как и в предыдущем романе — «Город в долине», — Макушинский рассуждает о выборе художником своего пути и ответственности за Историю.

УДК 821.161.1-31
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-96172-6

© Макушинский А., 2018
© Оформление. 000 «Издательство «Э», 2018

Глава 1

O welcome, Messenger! O welcome, Friend!
A captive greets thee, coming from a house
Of bondage, from yon City walls set free,
A prison where he hath been long immured.

Wordsworth¹

Когда советская власть, к несказанному нашему изумлению, начала колебаться и внезапные дыры обнаружались в проржавевшем железном занавесе, я отправился в свое первое заграничное путешествие, осенью 1988 года, сначала поездом до Парижа, где прожил месяц, оттуда на попутной машине во Фрейбург, затем в Констанц, в Мюнхен, обратно в Констанц, из Констанца и снова на попутной машине в Дюссельдорф, из Дюссельдорфа, наконец, в Кельн, где снова сел в поезд, возвративший меня в Москву. Этот второй поезд я помню смутно, зато первый поезд, поезд — туда, в неведомые земли, в свободный мир, запомнился мне на всю, наверное, жизнь — хотя кто мо-

¹ Здравствуй, вестник! Здравствуй, друг! Пленник, вышедший на волю из тюрьмы, из-за стен вон того города, где так долго он был заточен, приветствует тебя. *Вордсворт (Здесь и далее — перевод автора.)*

Алексей Макушинский

жет поручиться, что не потеряет со временем свои самые лучшие, самые яркие воспоминания? Однажды записанные, они получают все же чуть больше шансов не погибнуть под завалами того забвения, которое, как песок, заметает любую жизнь, мою в том числе. Пустыня растет, *die Wüste wächst*, писал Ницше... Из трех человек, проводивших меня на Белорусском вокзале, двоих уже нет на земле. Мы стояли все четверо, на, или так мне помнится, залитой золотым осенним светом, хотя и, конечно, запыленной, в бумажках и окурках, платформе, причем я, уезжавший, хотя еще и не навсегда, но все же так, как если бы этот еще предварительный и в известном смысле случайный отъезд уже намекал на какое-то другое, окончательное, непоправимое расставание, стоял уже словно сам по себе, лицом ко всем остальным, уже отделенный от них невидимой, но отчетливою чертою — что тут же и было отмечено ироничнейшим и, наверное, пронизательнейшим из участников процедуры — и затем вскочил в поезд с той беспечной легкостью, которую мы так охотно напускаем на себя в молодости, подчеркивая нашу готовность к приключениям и авантюрам, мнимые будущим, отбрасывая прошедшее, расставаясь легко, уезжая в синюю даль. Жизнь, скажем просто, лишь понемногу и постепенно превращается из обещания в сожаление.

Был, разумеется, проводник в этом поезде, еще тот советский проводник международного вагона, тот профессионально безликий проводник, иными словами, в котором весь опыт подневольной жизни приучил нас видеть агента охраны, почему и полагалось его задабривать возможно более щедрым *на-чаем* — он же и в самом деле не

скупись снабжал всех желающих в течение всего пути классическим железнодорожным чаем в стакане с подстаканником и двумя плоскими кусками сахара с кремлевскими башнями на обертке — неизменный атрибут русского путешествия, одна из уютнейших вещей на земле; вот под предлогом оплаты этого самого, еще не заваренного, не выпитого чая и следовало дать ему рублей десять, а то и все двадцать пять (*всучить четвертной*, говоря языком эпохи), каковая простейшая форма подкупа судьбы и *гебни* имела, впрочем, больше смысла, если вообще имела его, по дороге обратно, когда в чемодане у просвещенного путешественника могли оказаться драгоценные ИМКА-пресовские или ардисовские издания, трехтомник Мандельштама, «Вехи», Бердяев, Замятин; подкупленный же тобой проводник указывал, как считалось, пограничникам и таможенникам в Бресте не на твое купе, а, например, на соседнее, чтобы они его, значит, *шмонали*. В 1988 году пограничников и таможенников уже интересовали, впрочем, лишь материальные ценности, магнитофоны и синтезаторы, на книги почти уже и не смотрели они (в духовном смысле, следовательно, опережая эпоху, перескочив через перестройку напрямиком в девяностые годы). Но и по дороге туда хотелось все-таки избежать *шмона* — от которого врученный (*всученный*) проводнику *четвертной* меня и в самом деле избавил, так что, переждав в Бресте бесконечную смену колес — поднятый с русских рельсов, вагон, я помню, все висел и висел в воздухе, в ничейном и абстрактном пространстве, прежде чем опуститься на европейские, — я уже спокойно мог, точнее — мог бы, ехать по скучной и плоской Польше, целый долгий день, не обо-

Алексей Макушинский

шедшийся, увы, без скандальчика, принесший другие волнения. Не знаю, существуют ли до сих пор такие вагоны и такие купе; в ту, теперь уже историческую, эпоху международных вагонов, почти незнакомые простым советским гражданам, были ниже обычных и состояли из узеньких отсеков с двумя полками — одна над другой — и креслом у противоположной стены; рядом с креслом была дверь в пропахшую дешевым мылом умывальную комнатку, которую обитатели одного купе делили с обитателями другого, и как не вспомнить тут рассказ Бунина, в котором героиня, в волшебном каком-нибудь одиннадцатом году уезжающая с любовником за границу, переходит из одного купе в другое через вот такую же комнатку (в Совдепии, как это ни странно, ни грустно, еще сохранялись какие-то последние, драгоценные отзвуки прошлого — тут же и окончательно отзвучавшие, как только Совдепия рухнула). Героиню, как мы помним, другой любовник, австрийский писатель, застрелил потом в Вене... Купе были первого и второго класса, причем первый превращался во второй, если к двум пассажирам прибавлялся третий, спавший на откидной полке, днем прикрепленной к стене между полками верхней и нижней, на ночь откидывавшейся и повисавшей на подозрительно потрепанных, засаленных, холщовых ремнях; три пассажира спали, следовательно, друг над другом, как, наверное, спят в трюме океанского какого-нибудь парохода (плывущего, например, в Аргентину...) самые бедные, бесправные пассажиры. Разница в цене между первым и вторым классом была, кстати, довольно ничтожной. Совершались, однако, какие-то смутные перемещения и перестановки; кто-то почему-то пере-

ходил из купе в купе, из вагона в вагон; что-то явно выдумывали, к собственной выгоде, как это вообще им свойственно, проводники.

Я ехал сначала не помню с кем, затем почему-то один, затем, уже в Польше, в купе оказался немолодой, борода-тый, высокий и важный, взмыленный и наглый грузинский художник, которого я уже и до того видел перетаскивающим из вагона в вагон свои огромные, запакованные в серо-желтую бумагу и грязной бечевкой перевязанные картины, чемоданы, баулы, коробки, с помощью другого, тоже бородатого, и по виду тоже художника, но ростом и рангом пониже, да и бородою пожиже, и в сопровождении хорошенькой французской жены с нетихим младенцем, парафразируя Боратынского, на руках. А, это вы с нами едете? спросил художник, воззрившись на меня с таким видом, словно его в высшей, самой высшей, он даже не может сказать, сколь высокой степени удивляет присутствие здесь какого-то очкарика с французской книжкой в руках. Скорее вы со мной, сказал я, отрываясь от Шатобривана. Запахло, в самом деле, скандальчиком. Пропуская в купе всю свою свиту со всеми баулами, всеми картонками, коробками и картинами — уезжали они, видимо, навсегда, — художник потребовал опустить откидную третью полку, чтобы на нее, значит, все это и поставить; я заметил, что мы не в теплушке и что вообще-то я заплатил за первый класс. Запах скандальчика делался все сильнее. В Гражданскую войну и не так ездили, *потерпишь*, ответил художник. Довольно опрометчиво возразил я, что Гражданская война, по моим сведениям, закончилась и что мы с ним не переходили на «ты». Вмешалась француженка.

Алексей Макушинский

Лак цивилизации (*de la civilisation*) удивительно легко слезает с представителей (представительниц) просвещеннейшей нации, когда что-нибудь им не по ребру. Четвертной, накануне врученный и всученный безлико-угодливо му проводнику, возымел свое действие; переселившись с его помощью в другое купе, где чудесным образом обнаружилось свободное место, вполне приятно провел я остаток дня в разговорах с довольно даже хорошенькой, в кудряшках, веснушках, хотя и насквозь прокуренной, с желтыми страшноватыми пальцами, молодой женщиной (ее пальцы были старше ее самой лет на тридцать...), работавшей, как выяснилось, монтажером на киностудии «Мосфильм», где я и сам когда-то проработал полгода помощником режиссера («хлопушкой») — один из безумнейших и, пожалуй, бессмысленнейших эпизодов моей, как, наверное, и всякая другая, безумной и бессмысленной молодости, — так что нам и в самом деле было о чем, о ком поговорить (посплетничать) с ней, сидя в купе, с проплывавшей за окном плоской Польшей, или выходя курить в тамбур, где затхло пахло всеми выкуренными в нем сигаретами, всеми погашенными, раздавленными, в особенное ведро брошенными окурками, и плоская Польша проплывала в грязно-сумеречном, закопченном окошке, — тамбур, в который моя попутчица благородно удалилась без меня, поздно вечером, после того, как мы пересекли отвратительную польско-гедеэровскую границу — *Raßkontrolle!* и фонарем прямо в морду, — проехали невнятную восточную окраину страны реального социализма, обреченного вскоре погибнуть, проехали страшный, темный, как будто брошенный всеми, и людьми, и даже при-

зраками, Восточный Берлин, после очередного Paßkontrolle въехали наконец в сияющий всеми огнями свободы Берлин Западный, и за окном на платформе обнаружился мой старинный приятель Манфред Л. с бутылкой шампанского «Мумм» в левой и двумя — крест-накрест — тонконогими бокалами в правой руке, каковое шампанское мы с ним и выпили на коротком перегоне между станциями Berlin-Zoo и Berlin-Wannsee, где, перед новым впадением поезда в темноту Ге-де-эри, он сошел, я же еще минут пять — поезд почему-то не отправлялся — наблюдал из окна, как объясняется он с неизвестно откуда возникшим на совершенно пустой платформе железнодорожным чиновником, почему-то пожелавшим у него проверить билет. Манфред, тогда еще молодой, в потертой кожаной курточке и смешнейших желтых штанах, одной рукой, со все теми же и так же скрещенными бокалами в ней, маша мне, другой свободной рукою все показывал чиновнику, что он билет уже выкинул, точнее — как он выкинул этот билет, вполне, конечно, гипотетический: через плечо, лихим и быстрым взмахом покрасневшей на вечернем ветру руки, с марионеточной быстротой вновь и вновь вылезавшей из короткого, съезжавшего вниз рукава его кожаной курточки; когда поезд наконец тронулся, Манфред все стоял и махал, одной рукой мне, влево вправо, другой через плечо для чиновника, явно ему не верившего, но упорно шарившего глазами по платформе, в надежде, может быть, все-таки обнаружить там этот билет, давно и навсегда унесенный железнодорожным ветром воображенья.

Наутро в окне был уже Кёльнский собор; затем пошла Бельгия, в золотом и багряном полыхании осени показав-

Алексей Макушинский

шаяся мне такой прекрасной, какой никогда уже впоследствии не казалась, и поезд тихо, уже никуда не спеша, не раскачиваясь, окончательно распростившись с русской манерой постукивать на стыках рельсов, плыл вдоль каких-то каналов, или вдоль Мааса, уже не помню, с полыхавшими на солнце кирпичными домиками на другом берегу; и на каких-то станциях, где на мгновение мы останавливались, веселые железнодорожные рабочие, все как один сидевшие на скамейках, явно бездельничавшие, или курившие, или поевавшие свои бутерброды, вынимая их из фольги, тоже и в свою очередь поблескивавшей на солнце, кричали стоявшим у вагонных дверей, после въезда в свободный мир тоже как будто подобревшим проводникам, *ça va va? ça va?* как дела, мол? и проводники, переглядываясь друг с другом, добродушно-презрительно указывая друг другу на дураков-иностранцев, кричали в ответ: *сова, сова, филин, филин...*, такое удовольствие получая от собственного нехитрого юмора, что один из кричавших оттуда, с той стороны невидимого, уже дырявого, но еще очень железного занавеса, тоже в конце концов стал кричать в ответ что-то вроде: *philine, philine...*, полагая, по видимому, что это по-русски значит: *привет*, или *пока*, или, быть может, *пошел ты...*, и менее всего думая, конечно, о незабвенной Филине из «Годов учения», о которой я, невольный свидетель всей сцены, уже не мог не думать в продолжение пути, не только потому, разумеется, что считал в ту пору «Годы учения» самым главным, сформулируем это так, европейским романом и перечитывал постоянно, но прежде всего потому, что и сам еще, в свои тогдашние двадцать восемь лет, на исходе юности, чувствовал

себя — не подозревая, что очень скоро перестану себя так чувствовать, — героем «романа воспитания», Вильгельмом Мастером, отправляющимся в путешествие, на поиски приключений и себя самого, готовым к встрече с любой Филиной, Миньоной, Наталией, с арфистом, Лаэртом и Ярно, участником большого осмысленного движения, в котором все диссонансы, так скажем, обязательно разрешатся когда-нибудь — уже скоро! — всеохватывающей, всеоправдывающей гармонией; и поскольку вагон наш, прицепляемый все к новым и другим поездам, оказался последним, долго, я помню, стоял в заднем тамбуре, глядя на убежавшие, пропадавшие, как бы падавшие куда-то за нами и по-прежнему залитые солнцем холмы, величественно полыхающие леса, сказочный замок и еще один, не менее сказочный; и впоследствии, вернувшись из путешествия, так часто воображал себе, что было бы, если бы я — или *кто-нибудь* — сбежал и выпрыгнул, к примеру, из поезда, или просто сошел на станции, посреди этого мифологического ландшафта, этой кем-то придуманной Бельгии (начало *авантюры*, в средневековом и рыцарском смысле; герой, пускающийся на поиски себя и Грааля...), так часто воображал себе все это, что в конце концов, года, наверное, через два, увидел все это во сне, в одном из тех ярчайших, важнейших снов, каких нам немного отпускается за жизнь, каких в моей жизни было, может быть, только два или три, и в этом сне, когда я пытался открыть заднюю дверь, за которой все так же уносились и уносились в небытие мифологические холмы, возник у меня из-за спины проводник, остававшийся во сне таким же безликим, каким был наяву, и вежливо, вкрадчи-

Алексей Макушинский

во попросил меня дверь не трогать, открыть ее у меня все равно не получится, а главное — он, проводник, обязался и, значит, непременно должен довести меня до, почему-то сказал он, Лютеции, в которую я к тому же и сам ведь хочу попасть, и правильно делаю: Лютеция, сказал проводник моего сна, окончательно переходя на латынь, величайший и прекраснейший на земле город, *Lutetia Parisiorum*, сказал и повторил проводник, *urbs grandissima atque pulcherrima est*.

Глава 2

I have come to the borders of sleep,
The unfathomable deep
Forest where all must lose
Their way, however straight
Or winding, soon or late;
They cannot choose.

Edward Thomas¹

Я познакомился с Вивианой на третий или четвертый день моего пребывания в Лютеции; мне кажется, мы с первого взгляда не понравились друг другу. М., мой бесконечно дальний родственник, внук сбежавшего в свое время от большевиков двоюродного брата моей бабушки, свел меня с неким Пьер-Подем, а Пьер-Поль уже с Вивианой; все они занимались, смешно сказать, комиксами, с комической, в самом деле, серьезностью относясь к занятию своему. Пьер-Поль, с которым в день знакомства моего с Вивианой сидели мы в относительно, по парижским меркам, дешевой, шумной и проходной пиццерии на

¹ Я подошел к границам сна, к границам непостижимо глубокого леса, где все рано или поздно обречены заблудиться, каким бы ни был их путь, прямым или извилистым; у них нет выбора.

Эдвард Томас